

Князь Серебряный

<Отрывок>

<...>

ГЛАВА 7

Александрова слобода

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от Лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспреданно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники¹ отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провозая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

— Пожалейте, государи, нас, — говорили они на все голоса, — вам господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашею подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

— Отцы наши, батюшки! — пели иные протяжно, сидя у самой дороги, — дай вам господи доброе здоровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник².

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царскою милостыней.

Проходили также слепые гуслеры и сказочники, с гуслиями на плечах и держась один за другого.

Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи — ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбои в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их

без милосердия; зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случилось, но только на поверку всегда выходило, что купцы остались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на верную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в *неволю*? Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить проезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал бóльшую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оногo. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осмидневым заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух

душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили до сыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или монастырь, государев отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание. Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псары, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богоматери покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре непри-

ятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, окрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета.

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

— Это наши качели, боярин, — промолвил один из них, указывая на виселицы, — видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз не сводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищи его спешили и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную *редьку*. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной

почтительности; но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.

— Так, так, — сказал он, — ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови.

— Вставай, боярин! — сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленную саблей в руке. Медведь с разрубленную головою лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти.

— Добрый молодец! — сказал ему Серебряный, — назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу помолиться!

— Что тебе до моего прозвища, боярин! — отвечал опричник. — Не люблю я его, бог с ним!

Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

— Ну, батюшка, Никита Романыч, — сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежьей кровью с князя, — набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы бросил он тебя да

на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с маслеными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали, — прибавил Михеич шепотом, — виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирает кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть также (и это случалось часто), царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заране, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званых было семьсот человек.

ГЛАВА 8

Пир

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые

парчою и бархатом; государю — высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых³ яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и укусуниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя.

Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось.

Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоех поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

— Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

— Это царевич Иоанн Иоаннович, — отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:

— Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствованья!

— А этот молодой черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

— Ты видел его, князь, пять лет тому, рындою⁴ при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, — продолжал боярин, понижая голос, — видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебеда, нахмура брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борису! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

— Этот? — спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

— Да, — сказал Серебряный, вглядываясь в Годунова, — теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака⁵?

— Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! — говорит, — моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» — то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» — сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел

Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, — продолжал боярин, глядя на Годунова, — никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, — продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, — то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему господи, не пасть он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

— Скажи, боярин, — спросил он, — кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть ножом порет!

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иваныч Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

— Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные

хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевельным и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

— Василий-су! — сказал Басманов, — великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

— Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

— Боярин пьян, — сказал Иван Васильевич, — вынести его вон! — Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» — подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерек с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкой, Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море⁶ и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затеяливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно.

Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди, были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь пронизательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов приметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебывал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой

дружбы, от всяких приятных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственную светлую стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

— Афанасий, — сказал он полуласково, полунасмешливо, — долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь — змея лютая?

— Вяземский не опричник, — заметил царевич. — Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гуслирами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

— Царевич! — вскричал Вяземский, — если бы тебе было годков пять поболее да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померились бы с тобой, и сам бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гуслиях играть!

— Афонька! — сказал строго царь. — Не забывай, перед кем речь ведешь!

— Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, — отвечал дерзко Вяземский, — коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

— Нет, — сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодчество прощал Вяземскому его выходки, — рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлую ночью слепой Филька:

«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. “Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича”. — “Добро, — сказал Алеша, — полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!” Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем Змиевича и увез его молодую жену. “Исполать тебе, добрый молодец, — сказала жена, — что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!”»

— А что, Афоня, — прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, — как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылала очи пожаром.

— Афанасий, — продолжал царь, — я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми, — прибавил он значительно, — возьми с собой, для почету, поболе опричников!

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слышал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников. Не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

— Государь! — вскричал Малюта, — дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

— Государь, — продолжал Малюта, — намерен послать я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопами напал на объезжих людей. Многих убили до смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

— Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.

ГЛАВА 9

Суд

Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избili слугу его!

Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

— На кого ты просишь, — спросил он, — как было дело? Рассказывай по ряду!

— На кого прошу, и сам не ведаю, надежа православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством⁷ незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

— Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

— Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, — сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, — не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

— Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

— А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

— Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетью избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

— А много ль вас было в объезде?

— Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!

— А много ль ихних было?

— Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

— И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бела дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричинину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!

— Надёжа-государь! — отвечал стреманный с твердостью, — видит бог, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюся я смерти, боюся кривды, и в том шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его.

— Государь, — сказал он, вставая, — коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьюми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

— Никита! — сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово, — подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

— Знаю, государь.

— Нападал ты на него с товарищи?

— Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню...

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решил не щадить самого себя.

— Государь, — сказал он, — не слушай боярина. То он на меня сором лаает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

— Государь, — сказал он, — я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьюми, затем велел бить...

— Довольно! — сказал строго Иван Васильевич. — Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

— Не ведал, государь.

— А когда хотел повесить их, сказались они тебе?

— Сказались, государь.

— Зачем же ты раздумал их вешать?

— Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.

— Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям? Серебряный не нашелся отвечать.

Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

— Не затем, — сказал он, — не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, — продолжал царь с возрастающим гневом, — ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьюми?

— Государь...

— Довольно! — загремел Иоанн. — Допрос окончен. Братия, — продолжал он, обращаясь к своим любимцам, — говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного.

— Говорите ж, люди, — повторял он, возвышая голос, — что заслужил себе Никита?

— Смерть! — отвечал царевич.

— Смерть! — повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

— Так пусть же примет он смерть! — сказал Иоанн хладнокровно. — Писано бо: приемшие нож, ножом погибнут⁸. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

— Братия! — сказал он, — прав ли суд мой?

— Прав, прав! — раздалось между ближними опричниками.

— Прав, прав! — повторили отдаленные.

— Неправ! — сказал один голос.

Опричники взволновались.

— Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев? — послышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

— Кто говорит, что неправ суд мой? — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение. — Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

— Государь, — произнес Малюта в сильном волнении, — между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не спрашаючи разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

— Отец параклисиарх! — сказал он, усмехаясь, — давно ль ты умилелся сердцем?

— Государь! — продолжал Малюта, — не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя.

— Так это ты, Максимушка, охайваешь суд мой, — сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына. — Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

— Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

— Не слушай его, государь, — умолял Малюта, — он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь, как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

— Максим не пил ни вина, ни меду, — заметил злобно царевич. — Я все время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

— Да, — прибавил он, усмехаясь, — Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

— Батюшка, государь Иван Васильевич! — проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, — сего утра я, дурак глупый,

деревенщина необтесанный, просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только отпусти Максиму вино его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я сне-су на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаянье написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

— Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! — сказал он, — Максим прав!

— Что ты, государь? — вскричал Малюта, — как Максим прав? — И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

— Максим прав, — повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид, — я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это вы, окаянные, — продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым, — это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убийства? Нужно было извести моего доброго боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

— Не поздно, государь, — сказал Годунов, возвращаясь в палату. — Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху, палач, снем кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

— Борис, — сказал он, — подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыро-ядца. Подойди сюда, Федорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

— Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую. Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напредки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

— Какое идет тебе жалованье? — спросил Иоанн.

— Против рядовых людей обычное, государь.

— Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь!

— Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостойн одежи богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

— Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

— Постыла, государь.

— Чтó так? — спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

— Государь, — сказал он, — хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

— Не затем он просится, — подхватил царевич, — а затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

— Вот как! — сказал Иоанн насмешливо. — Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой богатырь! Ну где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники⁹ вписать!

— Эх, государь! — поспешил сказать Малюта, — куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

— Подойди сюда, князь! — сказал Иоанн. — Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотрев в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

— За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про причину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать!

— А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался.

— И тогда побил бы, государь, — сказал он простодушно, — не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание.

— Добрый твой ответ, Никита! — сказал он, одобрительно кивнув головой. — Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки¹⁰ добрые псы, боронить от пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на Страшном суде божием по пророческому словеси¹¹: се аз и дети, яже дал ми бог!¹² Добрый твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят; называют меня кровопийцею, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедают, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль, — продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб), — яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих¹³, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

— Отвечай, — сказал он грозно, — что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили?

Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

— Потравились маленько с мужиками! — отвечал он полухитро, полудержко, — нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

— Что ж, — сказал он, — доволен ты княжескими шелепугами¹⁴? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой проницательный взор на земских бояр.

— Вы! — сказал он строго, — не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! — И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку.

— Слушай! — произнес он, глядя на князя, — я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощения моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

— Государь! — сказал Серебряный, — жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

— Целуй же мне на том крест! — сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

— Теперь ступай! — сказал Иоанн, — и молись премилостивой троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины!

— Вы же, — прибавил он, глядя на земских бояр, — вы, слышавшие ваш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

— Ступайте все, — сказал он, — каждый к своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим, помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо¹⁵ в сердце моем лицепрятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрыгнуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые, притуманившись, — притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»

<...>

ГЛАВА 11

Ночное шествие

Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Онуфреву.

Стара была его мамка. Взял ее в Верьх¹⁶ еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила она еще Елене Глинской¹⁷. Иоанн родился у нее на руках; у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Онуфреву, что многое ей из-

вестно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боялись ее; Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей.

Много сокрытого узнавала Онуфревна посредством гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева¹⁸ — Иоанну тогда было четыре года — она предсказала князю, что он умрет голодною смертью. Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказанье.

Теперь Онуфревне добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Онуфревы пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась.

Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.

— Что? — сказала наконец мамка глухим, дребезжащим голосом, — молишься, батюшка? Молись, молись, Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на день придется!

— Полно, Онуфревна, — сказал царь, вставая, — сама не знаешь, что говоришь!

— Не знаю, что говорю! Да разве я из ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблестали.

— Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что? чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на дно адаво! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противопоставил молитву; но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его как железными

когтями. Неправость дел его являлась во всей наготу, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможенья.

Теперь мысль об аде, оживленная наступающею грозой и пророческим голосом Онуфьевны, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой.

— Ну, что, батюшка? — сказала Онуфьевна, смягчая свой голос, — что с тобой случилось? Захворал, что ли? Так и есть, захворал! Напугала же я тебя! Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благость-то божия еще больше! Только покайся, да вперед не грехи. Вот и я молюсь, молюсь о тебе и денно и ночью, а теперь и того боле стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю!

Иоанн взглянул на свою мамку, — она как будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее.

— Спасибо, Онуфьевна, спасибо; мне легче; ступай себе с богом!

— То-то легче! Как обнадежишь тебя, куда и страх девался; уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с богом! А ты на долготерпение-то божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у господина терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, царствие ему небесное! И матушка твоя, упокой господи душу ее, любила сбитень. В сбитне-то и опоили ее проклятые Шуйские!

Старуха как будто забылась. Глаза ее померкли; она опять принялась жевать губами, непрерывно шатавая головой.

Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул. Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

— Вишь, — сказала она, — дождь полил! И молонья блистать начинает! А вот и гром, батюшка, помилуй нас господи!

Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по небу непрерывными перекатами, беспрестанною молнией.

При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.

— Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить...

— Не надо, Онуфьевна, я здоров...

— Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И чтой-то у тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Царское ли это дело? Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой!

Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.

— Онуфревна, — сказал он вдруг с испугом, — кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!

— Христос с тобой, батюшка! кому теперь ходить. Послышалось тебе.

— Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь. Холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта.

— Кто это? — спросил царь, вскакивая.

— Да твой рыжий пес, батюшка, — отвечала мамка, сердито глядя на Малюту, — Гришка Скуратов; вишь, как напугал, проклятый!

— Лукьяныч! — сказал царь, обрадованный приходом любимца, — добро пожаловать; откуда?

— Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи принес! — Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

— Ключи! — проворчала старуха, — уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!

Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с поднятою клюкой, с сверкающими глазами.

Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило присутствие любимца.

— Не слушай ее, Лукьяныч, — сказал он, — знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура, оставь нас! Глаза Онуфревны снова засверкали.

— Старая дура? — повторила она, — я старая дура? Вспомните вы меня на том свете, оба вспомните! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский; комуждо воздастся по делам его¹⁹, а этот, — продолжала она, указывая клюкою на Малюту, — этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое, теплое место!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.

Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.

— Что ж, Лукьяныч, — сказал наконец царь, — винятся Колычевы?

— Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!

Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.

Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.

Его разбудил как будто внезапный толчок.

Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.

Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.

Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился.

Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навывкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.

«Опять наваждение! — подумал царь, — но не поддамся я прелести сатанинской²⁰, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснет бог, и да расточатся врази его!»

Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.

Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.

Мертвец наклонился перед Иоанном.

— Здрав буди, Иване! — произнес глухой нечеловеческий голос, — се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!

Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.

Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольничего Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.

Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:

— Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!

За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:

— Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!

Потом показали князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметев и другие казненные или убитые Иоанном.

Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:

— Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!

Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.

Вот показали воины, бывшие с царем под Казанью.

На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.

Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручки и лепетали:

— Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!

Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различать воображения от действительности.

Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.

— Именем бога живого, — произнес он, — если вы бесы, насланные вражьей силою, — сгиньте! Если вы вправду души казненных мною — дожидайтесь Страшного суда божия! Господь меня с вами рассудит!

Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю послышались как будто звуки труб и голос, взывающий:

— Иване, Иване! на суд, на суд!

Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню.

— Вставайте! — закричал царь, — кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!

Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.

Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные

рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шлыками.

Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом Божиим.

Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные свечки. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях.

Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:

— Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, господи, души побитых мною безвинно!

У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.

Свечки озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.

— Встань, батюшка! — сказала Онуфревна, — я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!

Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.

Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными свечками. Храмовые ворота поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.

Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.

Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.

— Это царь заутреню служит! — сказали они. — Умягчи, боже, его сердце, вложи милость в душу его!

Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач.

Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

— Молчи! — говорила она наконец, — молчи, не то Малюта услышит!

И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да бесперывный звон колокольный.

ГЛАВА 12

Клевета

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.

Нахмурия брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.

Конский топот и веселая молвь слышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удалцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.

— Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал царевич, оставив коня. — Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?

И царевич захохотал.

Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженной головой, он всю ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.

— Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу, — добро на ком другом, а на нем не заметно!

Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу.

«Добро! — думал он про себя, — дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженном сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.

Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, непрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все

испытанное ночью опять представилось ему обморочением дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Враг имени Христова, — думал он, — упорно перечит мне и помагает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не утрашуся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»

И решил царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.

И стал он мыслию пробегать подданных и между ними искать предателей.

Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным.

Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений.

Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред.

— Государь, — сказал, помолчав, Григорий Лукьянович, — ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положишься на меня. Я про все заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею: не сумею заставить их назвать твоего наибольшего супротивника!

Царь с удивлением взглянул на любимца.

В глазах Малюты было что-то необыкновенное.

— Оно, государь, дело такое, — продолжал Скуратов, и голос его изменился, — что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится...

Царь смотрел на него вопрошающим оком.

— Вот ты, государь, примерно, уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и вдесятеро более, а измены всё не избудешь!

Царь слушал и не догадывался.

— Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровехонек!

Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством.

— Видишь, государь, как бы тебе сказать. Вот, примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал²¹, дай бог тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, трудного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно, братец твой Володимир Андрейч!

«А! — подумал царь, — так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоился я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата!»

— Говори, — сказал он, обращаясь грозно к Малюте, — говори, что знаешь про Володимира Андреича!

— Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.

— Про кого же? — спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.

— Видишь, государь: Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим...

Малюта замаялся.

— Кого? — спросил царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленел.

— Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.

— Кого? — повторил Иоанн, вставая с места.

Малюта медлил ответом.

Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

— Государь, — сказал он вполголоса, — ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!

— Говори! — произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.

— Ему-то и на ум бы не взбрело, — продолжал Малюта, избегая царского взора, — ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе: немного позже, немного ране, все тем же кончится.

Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.

Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара.

— Государь! — сказал он вдруг резко, — не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя, он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча!

Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решил устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он наконец Малюту.

В это мгновение раздались на дворе радостные крики.

Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью и с челобитьем.

Увидев царевича, они все стали на колени.

— Чего вы просите, аршинники? — спросил небрежно царевич.

— Батюшка! — отвечали старшины, — пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Умилосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами и с детьми!

— Вишь, дурачье! — сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. — Они б хотели и жен и товар про себя одних держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!

— Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! — закричали торговые люди.

Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом-солью.

Малюта все видел из окна.

— Государь, — шепнул он царю, — должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здороваает!

И как чародей пугается недоброй силы, которую сам он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.

С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не выдывал его Малюта.

Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся.

— Гриша, — сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова, — как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья да ветки, а ствол-то стоит здоровешенек? Гриша, — продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью, — берешься ли ты вырвать с корнем измену?

Злобная радость скривила рот Малюты.

— Для твоей милости берусь, — прошептал он, дрожа всем телом.

Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора.

— Не надо медлить! — сказал он отрывисто и повелительно. — Никто чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убится с коня. Знаешь ты Поганую Лужу?

— Знаю, государь.

— Там чтоб нашли его! — Царь указал на дверь.

Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.

Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени.

Изю всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казнили боярина, требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько.

К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, — в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные ножами.

Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал Поганую Лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.

Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишённые снизу ветвей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Черный ворон пролетал над вершинами деревьев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором.

Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один непрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась достоянием силы нечистой.

К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой.

В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.

<...>

ГЛАВА 14

Оплеуха

В то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к Поганой Луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками.

— Скажи, Борис Федорыч, — говорил Серебряный, — что случилось с царем сею ночью? с чего поднялась вся Слобода на полунощницу? Аль то у вас часто бывает?

Годунов пожал плечами.

— Великий государь наш, — сказал он, — часто жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому дивиться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Григорию Назианзину²² говорит: что другим утро, то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с богом!

— Борис Федорыч! Случалось мне видеть и прежде, как царь молился; оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся, а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорыч, близок к нему, он любит тебя, что б тебе сказать ему про опричнину?

Годунов улыбнулся простоте Серебряного.

— Царь милостив ко всем, — сказал он с притворным смирением, — и меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских, не мне царю указывать. А опричнину понять нетрудно: вся земля государева, все мы под его высокою рукою; что возьмет государь на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше; кому велит быть около себя, те к нему близко, а кому не велит, те далеко. Вот и вся опричнина.

— Так, Борис Федорыч, когда ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет! Ты бы сказал царю. Он бы тебе поверил!

— Князь Никита Романыч, много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому, что и те и другие люди! Положим, я бы сказал царю; что ж из того выйдет? Все на меня подымутся, и сам царь на меня ж опалится!..

— Что ж? Пусть опалится, а ты сделал по совести, сказал ему правду!

— Никита Романыч! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было, а не было б меня здесь, кто б тебя вчера от плахи спас?

— Что дело, то дело, Борис Федорыч, дай бог тебе здоровья, пропал бы я без тебя!

Годунов подумал, что убедил князя.

— Видишь ли, Никита Романыч, — продолжал он, — хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, кабы, примерно, сорок воров стали при тебе резать безвинного?

— Что б сделал? А хватил бы саблею по всем по сорока и стал бы крошить их, доколе б души богу не отдал!

Годунов посмотрел на него с удивлением.

— И отдал бы душу, Никита Романыч, — сказал он, — на пятом, много на десятом воре; а достальные все-таки б зарезали безвинного. Нет; лучше не трогать их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Степка-де взял на себя более Мишки, так они и сами друг друга перережут!

Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменял разговор.

— Вишь, — сказал он, глядя в окно, — кто это сюда скачет, сломя шею? Смотри, князь, никак, твой стремянный?

— Вряд ли! — отвечал Серебряный, — он отпросился у меня сегодня верст за двадцать на богомолье...

Но, взглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича. Старик был бледен как смерть. Седла под ним не было; казалось, он вскочил на первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор, под самые красные окна.

— Батюшка Никита Романыч! — кричал он еще издали, — ты пьешь, ешь, прохладжаешься, а кручинушки-то не ведаешь? Сейчас встрел я, вон за церковью, Малюту Скуратова да Хомяка; оба верхом, а промеж них, руки связаны, кто бы ты думал? Сам царевич! сам царевич, князь! Надели они на него черный башлык, проклятые, только ветром-то сдуло башлык, я и узнал царевича! Посмотрел он на меня, словно помощи просит, а Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо!

Серебряный вспрянул с места.

— Слышишь, слышишь, Борис Федорыч! — вскричал он, сверкая глазами. — Али ждать еще, чтоб вору перессорились меж собой! — И он бросился с крыльца.

— Давай коня! — крикнул он, вырывая узду из рук Михеича.

— Да это, — сказал Михеич, — конь-то не по тебе, батюшка, это конь плохой, да и седла-то на нем нетуги... да и как же тебе на таком коне к царю ехать?..

Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за Малютой...

Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие:

Когда зачиналась каменна Москва,
Зачинался царь Иван, государь Васильевич.
Как ходил он под Казань-город,

Под Казань-город, под Астрахань;
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя и с царицею;
Выводил измену из Пскова,
Из Пскова и из Новгорода.
Как бы вывести измену из каменной Москвы!
Что возговорит Малюта, злодей Скурлатович:
«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Не вывести тебе изменушки доведу!
Сидит супротивник супротив тебя,
Ест с тобой с одного блюда,
Пьет с тобой с одного ковша,
Платье носит с одного плеча!»
И тут царь догадается, на царевича осердится.
«Ах вы гой еси, князь и бояре!
Вы берите царевича под белы руки,
Надевайте на него платье черное,
Поведите его на то болото жидкое,
На то ли Лужу Поганую,
Вы предайте его скорой смерти!»
Все бояре разбежались,
Один остался Малюта-злодей,
Он брал царевича за белы руки,
Надевал на него платье черное,
Повел на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.
Проведал слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакал к Никите Романычу:
«Гой еси, батюшка, Никита Романыч!
Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься,
Над собой кручинушки не ведаешь!
Упадает звезда поднебесная,
Угасает свеча воску ярого.
Не становится млада царевича!»
Никита Романыч испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачет на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.
Он ударил Малюту по щеке:
«Ты, Малюта, Малюта Скурлатович!
Не за свой ты кус принимаешься,
Ты этим кусом подавишься!..»

Песня эта, может быть и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того века. Не полно и не ясно доходили до народа известия о том, что случилось при царском дворе или в кругу царских приближенных, но в то время, когда сословия еще не были разъединены нравами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий.

Таков ли ты был, князь Никита Романович, каким воображаю тебя, — про то знают лишь стены кремлевские да древние дубы подмосковные! Но таким ты предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь ветер шелестил в листьях, и лишь жук вечерний пролетал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне любовь к родине, и ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто взамен зрения, заграждаемого темною, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не составляли преграды. Таким предстал ты мне, Никита Романович, и ясно увидел я тебя, летящего на коне в погоню за Малютой, и перенесся я в твоё страшное время, где не было ничего невозможного!

Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то добрый конь в свое время; прослужил он лет двадцать и на войне и в походах; только не выслужил себе покою на старости; выслужил упряжь водовозную, сено гнилое да удары палочные!

Теперь почуял он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи, и кормили его отборным зерном, и поили медвяною сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за Малютой Скуратовым.

Скачет Малюта во дремучем лесу с своими опричниками. Он торопит их к Поганой Луже, поправляет башлык на царевиче, чтоб не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от Малюты, схоронились бы больший за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его казнить так далеко.

Торопит Малюта опричников, сердает на коней, бьет их плетью по крутым бедрам.

— Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Не одумался б царь, не послал бы за нами погони!

Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные вороны — уже близко Поганая Лужа!

— Эй, — говорит Малюта Хомяку, — никак, стучат за нами чужие подковы?

— Нет, — отвечает Хомяк, — то от наших коней топот в лесу раздается.

И пуще торопит Малюта опричников, и чаще бьет коней по крутым бедрам.

— Эй, — говорит он Хомяку, — никак, кто-то кричит за нами?

— Нет, — отвечает Хомяк, — то нашу молвь отголоски разносят.

И серчает Малюта на коней.

— Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было б за нами погони!

Вдруг слышит Малюта за собою:

— Стой, Григорий Лукьяныч!

Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал его старый конь водовозный.

— Стой, Малюта! — повторил Серебряный и, нагнав Скуратова, ударил его в щеку рукою могучею.

Силен был удар Никиты Романовича. Раздалась пощечина, словно выстрел пищальный; загудел сыр-бор, посыпались листья; бросились звери со всех ног в чащу; вылетели из дупел пучеглазые совы; а мужики, далеко оттоле дравшие лыки, посмотрели друг на друга и сказали, дивясь:

— Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над Поганою Лужей?

Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух.

— Малюта! — вскричал князь, вскочив на ноги, — не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом подавишься!

И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся разрубить ему череп.

Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его.

«Вот, — думал князь, отбивая удары, — придется живот положить, не спася царевича! Кабы дал бог хоть с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу; ему отвечали громкие окрики. Один опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раздробленною головой, а над трупом его явился Ванюха Перстень, махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на Малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Малюта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде было разогнаться, все пришел лес да валяжник. Многие легли на месте; но другие скоро оправились. Крикнули: гой-да! и потоптали удалую вольницу. Сам Перстень, раненный в руку, уже слабее разил чеканом, как новый свист раздался в лесу.

— Стойте дружно, ребята! — закричал Перстень, — то дедушка Коршун идет на прибавку!

И не успел он кончить речи, как Коршун с своим отрядом ударил на опричников, и зачался меж ними бой великий, свальный, самый красный.

Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под собой седоков. Опричники отчаялись насмерть. Сабля Хомяка свистела, как вихорь, над головой его сверкала молния.

Вдруг среди общей свалки сделалось колебанье. Дюжий Митька буравил толпу и лез прямо на Хомяка, валяя без разбор и чужих и своих. Митька узнал похитителя невесты. Подняв обеими руками дубину, он грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал в конскую голову, конь покотился мертвый, дубина переломилась.

— погоди! — сказал Митька, наваливаясь на Хомяка, — тяперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не с кем было более драться, все опричники легли мертвые, один Малюта спасся на лихом аргамаке.

Стали разбойники считать своих и многих недосчитались. Было и между ними довольно урону.

— Вот, — сказал Перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица, — вот, боярин, где довелось свидеться!

Серебряный, с первым появлением разбойников, бросился к царевичу и отвел его коня в сторону; царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот его был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою.

— Царевич, — сказал он, видя, что станичники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней, — битва кончена, все твои злодеи полегли, один Малюта ушел, да я чаю, и ему несдобровать, когда царь велит сыскать его!

При имени царевича Перстень отступил назад.

— Как? — сказал он, — это сам царевич? Сын государев? Так вот за кого бог привел постоять! Так вот кого они, собаки, связавши везли!

И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги.

Весть о его присутствии быстро разнеслась меж разбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу.

— Спасибо вам, добрые люди! — сказал он ласково, без обычного своего высокомерия, — кто б вы ни были, спасибо вам!

— Не на чем, государь! — отвечал Перстень. — Кабы знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не сорок молодцов, а сотенки две; тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч; взяли б мы его живьем да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стремянный; он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?

— У меня! — отвечал Митька, лежа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы.

— Давай его сюда, небось не уйдет! А вы, ребяташки, разложите огоньку для допросу да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь.

Митька встал. Из-под него поднялся здоровый детина; но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления.

— Хлопко! — раздалось отовсюду, — да это Хлопко! это он Хлопка притиснул вместо опричника.

Митька смотрел, разиня рот.

Хлопко насилу дышал.

— Ишь, — проговорил наконец Митька, — так это я, должно быть, тебя придавил! Чаво ж ты молчал?

— Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле сидел, тюлень этакий! Тьфу!

— Да чаво ж ты подвернулся?

— Чаво! чаво! Как ты, медведь, треснул коня по лбу, так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня и сел, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

— Ишь! — сказал Митька, — вот што! — и почесал затылок.

Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти.

— Нечего делать, — сказал Перстень, — видно, не доспел ему час, а жаль, право! Ну, так и быть, даст бог, в другой раз не свернется!

А теперь дозвожь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне, государь! Не приходилось бы мне, худому человеку, и говорить с твоею милостью, да что ж делать, без меня тебе отселе не выбраться!

— Ну, ребята, — продолжал Перстень, — собирайтесь оберегать его царскую милость. Вот ты, боярин, — сказал он, обращаясь к Серебряному, — ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я чай, пешему будет сподручнее, а тебе, Митька, и подавно!

— Ништо! — сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону, — и я сяду!

Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него, взвалился на коня животом, проехал так несколько сажений рысью и наконец уже взобрался на седло.

— Эхва! — закричал он, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевича.

Когда показалось наконец поле, а вдали запестрела крыша Александровой слободы, Перстень остановился.

— Государь, — сказал он, соскакивая с коня, — вот твоя дорога, вон и Слобода видна. Не пристало нам доле с твоею царскою милостью оставаться. К тому ж там пыль по дороге встает; должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневоле бог свел!

— Погоди, молодец! — сказал царевич, который, по миновании опасности, начал возвращаться к своим прежним приемам. — Погоди, молодец! Скажи-ка наперед, какого ты боярского рода, что золоченый зипун носишь?

— Государь, — ответил скромно Перстень, — много нас здесь бояр без имени-прозвища, много князей без роду-племени. Носим что бог послал!

— А знаешь ли, — продолжал строго царевич, — что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят и что ты сам своего зипуна не стоишь? Не сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем ратникам всех вас перехватать да к Слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу и батюшке-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

— Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе благодарствую; только не пришло еще мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед богом, велики виновности перед государем; вряд ли

простит меня батюшка-царь, а хоча бы и простил, так не приходится бросать товарищей!

— Как? — сказал удивленный царевич, — ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрямый обещаю? Видно, грабить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить?

Перстень погладил черную бороду и лукавою усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее.

— Государь! — сказал он, — на то щука в море, чтобы карась не дремал! Не привычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу. Прости, государь; вон уж пыль сюда подвигается; пора назад; рыба ищет где глубже, а наш брат — где место покрепче!

И Перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич сам-друг с Серебряным поехали к Слободе и вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов.

Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века.

Что возговорит грозный царь:

«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!

Надевайте платье черное,

Собирайтесь ко заутрене,

Слушать по царевиче панихиду,

Я всех вас, бояре, в котле сварю!»

Все бояре испугались,

Надевали платье черное,

Собирались ко заутрене,

Слушать по царевиче панихиду.

Приехал Никита Романович,

Нарядился в платье цветное,

Привел с собой млада царевича

И поставил за дверьми северны.

Что возговорит грозный царь:

«Ах ты гой еси, Никита Романович!

Что в глаза ль ты мне насмехаешься?

Как упала звезда поднебесная,

Что угасла свеча воску ярого,

Не стало у меня млада царевича».

Что возговорит Никита Романович:

«Ах ты гой еси, надежа, православный царь!

Мы не станем по царевиче панихиду петь,
 А станем мы петь молебен заздравный!»
 Он брал царевича за белу руку,
 Выводил из-за северных дверей.
 Что возговорит грозный царь:
 «Ты, Никита, Никита Романович!
 Еще чем мне тебя пожаловать?
 Или тебе полцарства дать?
 Или золотой казны сколько надобно?»
 «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
 Не сули мне полцарства, ни золотой казны,
 Только дай мне злодея Скурлатова:
 Я сведу на то болото жидкое,
 Что на ту ли Лужу Поганую!»
 Что возговорит царь Иван Васильевич:
 «Еще вот тебе Малюта-злодей,
 И делай с ним, что хочешь ты!»

Так гласит песня; но не так было на деле. Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского, но Малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Онуфревы, не приял своей муки в этой жизни и умер честною смертию. В обиходе монастыря св. Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит на государском деле под Пайдою.

Как оправдался Малюта в клевете своей — мы не знаем.

Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию; может быть, не вполне отказался от подозрений на царевича. Как бы то ни было, Скуратов не только не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Малюту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич; Иоанн был отныне единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его верность.

Намек на Басманова также не прошел даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения и хотя не тотчас пустил в нем корни, но значительно охладил расположение его к своему кравчому, ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впоследствии и сам признал свое опасение напрасным.

<...>